



Мастерская



Андрей Грицман. Сезон дождей

А н д р е й Г р и ц и н

С Е З О Н Д О Ж Д Е Й

СЕЗОН ДОЖДЕЙ

Я проснулся в стране, где живут в четырех временах года: грусть, память о грусти, ожидание грусти, сезон дождей. Время идет вдоль застывших мокрых полей по направлению к городу, и чахлый дымок стыдливо ползет из трубы охранныго домика. Город встает вдали футуристическими динозаврами ненужных конструкций, и на подходах к городу закрытые в машинах люди думают о застывшем за окнами сезоне, стареют и обмениваются впечатлениями о вечном дожде, денежном обмене и мечтами о том, чтобы проснуться в раю. В раю у бассейна накрыты столы, ломящиеся от оплаченных в кредит овощей и фруктов, слышен зов муэдзина, одинокие фигуры убирают пустынный пляж после вчерашнего дня, которого и не было, а жена рядом в постели делает вид.

На следующий день мне приснилось, что умер мой друг, замечательный поэт, и мы, небольшой круг друзей и соратников, от всех это скрывали (говорили, что он уехал куда-то в Азию по делам), и я сидел с ними, и мы ели мертвую курицу с пластиковой тарелки, и я думал, что он любил эту еду, и что все могло бы быть по-другому, и, на самом деле, все еще можно повернуть, если сезон сменится вовремя или хотя бы на время. Со сна я не вполне понимал, где я проснулся, — знаете, как это бывает? Расположение эстампов на белой стене, черно-белая фотография чьей-то мамы со всепрощающей улыбкой на комод, очертание человеческой фигуры, висящей на вешалке в углу, моя утренняя эрекция — подсказывали, что я в привычном месте, жизнь продолжается, все идет своим чередом, и он жив, и я жив, и вдова жива и торчит на работе, муэдзин орет где-то далеко, а фрукты и овощи можно купить на углу у корейцев. Я успокоился, встал, выматерился на двух известных мне языках и вдруг нашел очки. Подошел к окну и обомлел. За окном явно кончался сезон памяти и начинался сезон дождей.

●

Я сел в машину, протер очки, поднял глаза и увидел радугу.
Она висела над одинаковыми пригородными домами
и пригородным лесом.

Лес делал вид, что он все еще держит свои позиции далеко
на горизонте,

очевидно, с помощью всяческой радуги.

Радуга была настоящая, как на открытке, и свежая струя воздуха
из полуоткрытого окна автомобиля подтверждала ее реальность,
вопреки впечатлению оптического обмана.

Я подумал, знает ли радуга, или, скажем, лес в последней дали,
или кристалл, водопад, что они эстетически прекрасны.

Как, например, мои коты, которые об этом знают.

Я достал свой новый мобильный телефон, протер очковой фланелью
шпионский глазок камеры с орлиной зоркостью двух мегапикселей,
наставил на радугу тройные поверхности — своих очков,

окна машины и линзы —

и нажал нужную кнопку.

Я поднял глаза — радуга испарилась и сменилась
молочным порезом «Боинга», кренящегося к Ньюарку

на вечеряющем небе.

Радуга пропала, но зато появилась патрульная машина вровень
с моим окном

и полицейский с угрожающей надеждой спросил,
нет ли у меня каких-нибудь проблем.

Я ответил, что фотографировал радугу, и ответ ему очень

не понравился,

но патрульная машина после краткого раздумья

о моей судьбе проворчала

дальше к парквэю, в поисках другой добычи,

на всякий случай зарегистрировав мои номера.

Я нажал на другую кнопку и послал радугу воздушной почтой,
как ей и положено, через космос жизни в свой электронный ящик.
Тут выяснилось, что, пытаясь безуспешно оправдаться перед властью,
я нажал не на те кнопки и радуга исчезла совсем и навсегда.

Не с вечеряющего неба, а вообще.

Как будто ее и не было и я никогда ее не снимал

через три стеклянных поверхности,
несколько раз ее преломляющих
и потом собирающих в прекрасную электронную мозаику
виртуального изображения.
Я понимаю что, несмотря на незначительность этого сообщения
и сожаления о том, чего, может быть, и не было,
поверить мне невозможно и единственным доказательством
того, что я описал,
является электронная запись в компьютерном файле
полиции графства Берген штата Нью-Джерси
26 февраля 2008 года.

Текст называется: *определение поэзии*.

О ВЕТРЕ

«Монах волосатыми пальцами книгу захлопнул — сентябрь. Посеял Язон...» переводные четкие блики слов, залетевшие из юности. Ветер поднимается и стихает. Ветер носит много имен. Сносит преграды. Это воздух, которым мы дышим, он уносит лепестки, листки с незаконченным текстом, листает страницы книги и вдруг открывает случайно на нужной странице, стихает, и остается текст, буквы открыто смотрят на мир, в то время как другие прищурились, зажмурились и спрятались в бумажных ущельях закрытых страниц.

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» — набор незаменимых слов, брошенных на ветер: детская переводная картинка ветра, залетевшая в душу навсегда. Ветер — движение. «Список кораблей прочел до середины. На головах царей — божественная пена». Обрывки этой пены летят к нам через столетия, через страшные ледяные глыбы Колымы и вечной арктической ночи, где сатана правит свой безъязыкий бал в адском лунном сиянии.

Но где-то в районе Леванта, над морем среди земли, струи хамсина встречаются с чувственным дыханием мистралья и смешиваются в потоки живой прозрачной воздушной воды, и там — живет человек и плывут строки, строки, как лепестки, обрывки. Потом — воздух холодеет, шуршит стекленеющая осенняя листва

и замерзшие брошенные газеты с замороженной позавчерашней жизнью, но все равно — жизнью. Это движение, ветер, порыв, вектор, кровообращение, когда сердечные клапаны хлопают, как чистый флаг на ветру.

Боже, детский сквозняк, детские болезни, мир обещаний и увещеваний, постоянная диалектика сквозняка из открытой форточки и свежего воздуха, необходимого для выздоровления, для красных кровяных телец, больно покусывающих кончики пальцев, когда наконец выйдешь и, зажмурившись, смотришь, глядишь, видишь — у ветра запах другой — проснувшийся, свежий, живой. Март еще не пробился насквозь, но жизнь уже набухает под спудом, и ветер несет надежду на весну, на неожиданную чудесную встречу и на дальнюю поездку навстречу степям и южному ветру с легким привкусом рыбы, влажной гнили и цветущего темного оврага.

Сухая библейская весть хамсина, жесткая правда песка: глаза слезятся, и рассмотреть реальность невозможно. Да ее и нет — есть только генетика того, кто ты есть, и палец, поднятый по ветру, дает направление в никуда. Потому что стоишь на том, что ось земная рядом, под ногами, и песчаный ветер с периодичностью строф засыпает тропы к месту встречи с исторической судьбой.

Ветер несет над Атлантикой небесные лайнеры и теплые души, в них уснувшие. Проснувшись, они вдыхают другой влажный, туманный, переменчивый воздух. Долина Гудзона — аэродинамическая труба, центростремительная сила, тянущая в сторону от тоски неизбежности: в любую сторону, куда дует ветер, — мир открыт, как мореходная карта трансатлантического рейса, когда приоткрываешь полупьяные глаза, видишь фосфоресцирующий экран и на фоне мерцающего квадрата прекрасную незнакомку в синей униформе, с небесным шарфиком на нежной шее, с неизвестной, но предсказуемой жизнью где-то в неразделенном дальнем теплом кубике многоквартирных сот аккуратного пригорода Амстердама, Праги или Франкфурта.

А ледниковая глыба обитаемого острова, обтекаемая океанским ветром, плывет на восход, дает временный приют нам, уставшим в дороге и присевшим у спасительной скалы за столиком у входа в Starbucks. И вдруг окликает голос: «Темнеет, пора домой!..» — голос из давней глубины, несравнимый, незабываемый, дальний, возвращающий в нереальную относительную реальность, напоми-

нающий, что ты еще жив; голос звучит, и чертова зажигалка гаснет на ветру, рвущемся из гавани, открытой всем ветрам, и не прикурить, если не сложить ладони, будто стараешься рассмотреть и понять что-то в своих собственных теплых ладонях.

ПОЕЗД № 1

Все те, кого не досчитались в прошлых списках, потерянные по трамваям книги, кошельки и фото, заметки на пустеющих полях, выплывают позже: ранним утром, осенним вечером, на закате, перед восходом.

Я ворот расстегну, услышу сам себя, проходит первая боль, первая, вторая, далее везде, и оседают пыль и пух июня. Рассеянный взгляд замечает в окне прохожего, ближе, ближе — самого себя, входящего в дом, но не заметив, что подъезд закрыт и якорь поднят, третий свисток прозвучал в морозной оглушающей пустоте. И город, и пригородная чертовщина вокруг, пустырная мертвечина тронулись медленно, но постепенно набирая гон и вот — момент обетованный: отдав билет — подняться, двинуться, покачиваясь, прося извинения у курящих в узких коридорах, захлопывая бесконечные двери, двигаться по направлению к вагону-ресторану, вагон за вагоном, купе за купе, тамбур за тамбуром, никогда не достигая недостижимого, там, где на крахмальной скатерти — заплаканный графин, стопки постукивают в такт стыкам рельс, считая шпалы, салат столичный с желтой пленкой майонеза и с россыпью горошка, матово-белые тарелки пустыни в обещающей неизвестности.

Меня там нет, но я обо всем знаю. Я иду по поезду, извиняясь перед застывшими фигурами в коридорах, мимо темнеющих пустых полей,

и только мое собственное отражение в обморочных
темных окнах
подразумевает, что я иду в каком-то направлении.
В этих полях я один из них, и, хотя полоса отчуждения
черна, опалена тысячью летящих окон, бликами судеб,
там, далеко за ней, ты ждешь меня, сидя рядом со мной,
в пустом трамвае, идущем к вокзалу, к ларькам, киоскам
и к статуе, протянутой рукой встречающей еще невидимые
поезда дальнего следования.

ПОЕЗД № 2

Все те, кого не досчитались в списках,
забытые в трамваях книги,
потерянные кошельки и фото,
заметки на пустеющих полях,
все эти дни работы бесполезной
(страдание на совесть, не на страх) —
все выплывает позже, ранним утром,
осенним вечером, закатом, на восходе,
когда, теряя листья на лету,
деревья не одеты по погоде
и горечь расставания во рту.

Попив живой воды, отведав зелья,
и ворот расстегнув, я слушаю себя.
Как боль проходит, оседает пыль
и дышит подземелье, вернее подсознание.
Я слушаю себя, и заморочный взгляд
в окне прохожего заметит незнакомца,
входящего в твой дом в подсвете солнца.
Ни он, ни я не знаем, что потом.
Не замечаем, что свисток пропел.
Он прозвучал в морозной гулкой дали
и вдоль состава полетели ели
в какой-то свой невидимый предел.
Тот город, пригород, вся чертовщина вдруг

рассталась незаметно с чудной точкой.
Так постепенно вижу я воочью
обетованный сладостный момент,
когда, покачиваясь, говоря «простите»,
открыв на взлете тысячи дверей,
я двигаюсь по направлению к свету,
к вагону-ресторану, где навечно
поставлена закуска на столе:
графин заплаканный, салат столичный с пленкой
масляной и россыпью горошка
и матовость тарелок в пустоте
нам обещают щедрость дара.
В вагоне-ресторане с пыла, с жара
невидимый шеф-повар что-то варит
и тянется сквозь годы жир котлет.

Меня там нет, но я все это знаю.
Иду по поезду, по аду иль по раю.
Фигуры застывают в коридорах,
и мы летим вдоль брошенных полей.
Но отражения в немых и темных окнах
мне говорят, что это я иду
куда-то в направлении неизвестном.

Я не один в движеньи бесполезном.
Ничейная земля черна, опалена
от вспышек окон, пролетевших мимо,
от бликов судеб. Все непоправимо.
Но там, за полосой, ты ждешь меня
в пустом трамвае сидя со мной рядом.
Мы говорим навзрыд и невпопад,
когда к вокзалу тот вагон, звеня
подходит медленно к ларькам, киоскам
и к статуе с протянутой рукой,
где я бродил тогда еще подростком
и где рукой протянутой она
встречала отправление незримых,
курьерских, скорых и товарных в дыме,

ушедших в неизбывные года.
Когда судьба осталась на вокзале
и вспомнилось: тогда была среда.

УЛИЦА

Я помню стену, улицу и дым повисший
над рекой невидимой. И я один из них
но неизвестно им мое присутствие или я
один, другой среди теней на стенах
зовущих тянущих живую руку но
улицу не перейти. Тих сумеречный мир
ни звука. Тени на стене от без вести
пропавших. Память камня словно
плющ ползущий грибница памяти
кладбищенская чаща. Бесплоден спор — рука
не достигает взлетевших птиц. Ворота
приоткрыты не видно лиц. Все говорит
о том что жизнь была и есть
всевышний пролетел задев крылом
ночную тень от башни. И след его пропал.
Но двое без конца ведут свой разговор.
Они его не слышат. Он — в шуме лип и в осязании
ветра с невидимых полей за городом.
Поодаль ребенок не уснул. Он слышит гомон
взрослых а дальше час такой — не слышно
туда тел лишь шепот душ по улице
где ангел пролетел. Не видно выхода но это
не тупик. Граница города в беспамятстве
полей. На улице пока светло. Прозрачный
ранний вечер. Пора идти домой — на свет
на запах быта. Но некуда идти. Остыл
последний след. Расположение тел
геометричность жеста — по Лобачевским
линиям за мглу за горизонт. Но
горизонта нет. Лишь явная черта
на улице потерянных имен последних слов

безмерного остатка недосказанного.
Потом фигуры тают и речь
теряется в светлеющих стволах.
И только стая знает — есть у птиц душа
иль только сгусток гладких мышц
несущих терпкий свой глоток. Но есть
душа у мест. Так облученный лес
несет свою судьбу сквозь ядерный овраг.
На улице почти пустой — пыль шорохи
судьбы. Но обещанья нет что кто-нибудь
дойдет. И утром не найти следов монет
вещей оставленных впотьмах
у каменных ворот. Никто и не придет.

А за окном — быт нем как натюрморт.
Недвижимый до будущего века.
Но тонким пульсом — жизнь на волоске.
Свет темных глаз в глухом растворе
мрака.
Так и моя семья: кто в лес
кто по дрова. Молекулы любви
рассеяны по свету.
И на пути туда — я говорю себе
и женщина-судьба послушает
кивнет и медленно уйдет
по тихой улице за раму
без ответа.

